

Александр Александрович
ФАДЕЕВ
1901–1956

Александр
ФАДЕЕВ

Молодая гвардия

Роман



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе!
Штыками и картечью проложим путь себе...
Чтоб труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял,
В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!

Песня молодежи

ГЛАВА 1

— Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть... Точно изваяние, — но из какого чудесного материала! Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа, — человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это ее отражение в воде, — даже трудно сказать, какая из них прекрасней, — а краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — желтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная, — у людей таких и красок и названий-то нет!..

Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, девушка с черными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в темной воде.

— Нашла время любоваться! И чудная ты, Уля, ей-богу! — отвечала ей другая девушка, Валя, вслед за ней высунувшая на речку чуть скуластое и чуть курносенькое, но — очень миловидное свежей своей молодостью и добротой лицо. И, не взглянув на лилию, беспокойно поискала взглядом по берегу девушек, от которых они отбились. — Ау!..

— Ау... ау... у-у!.. — отозвались на разные голоса совсем рядом.

— Идите сюда!.. Уля нашла лилию, — сказала Валя, любовно-насмешливо взглянув на подругу.

И в это время снова, как отзвуки дальнего грома, послышались перекаты оружейных выстрелов — оттуда, с северо-запада, из-под Ворошиловграда.

— Опять!

— Опять... — беззвучно повторила Уля, и свет, с такой силой хлынувший из глаз ее, потух.

— Неужто они войдут на этот раз! Боже мой! — сказала Валя. — Помнишь, как в прошлом году переживали? И все обошлось! Но в прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, как бухает?

Они помолчали, прислушиваясь.

— Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, — мне делается так больно, словно все это уже ушло от меня навсегда, навсегда, — грудным волнующимся голосом заговорила Уля. — Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже приучила ее не допускать в себя ничего, что может размягчить ее, и вдруг прорвется такая любовь, такая жалость ко всему!.. Ты знаешь, я ведь только тебе могу говорить об этом.

Лица их среди листвы сошлись так близко, что дыхание их смешивалось, и они прямо глядели в глаза друг другу. У Вали глаза были светлые, добрые, широко расставленные, они с покорностью и обожанием встречали взгляд подруги. А у Ули глаза были большие, темно-карие, — не глаза, а очи, с длинными ресницами, молочными белками, черными таинственными зрачками, из самой, казалось, глубины которых снова струился этот влажный сильный свет.

Дальние гулкие раскаты оружейных залпов, даже здесь, в низине у речки, отдававшиеся легким дрожанием листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались на лицах девушек. Но все их душевные силы были отданы тому, о чем они говорили.

— Ты помнишь, как хорошо было вчера в степи вечером, помнишь? — понизив голос, спрашивала Уля.

— Помню, — прошептала Валя. — Этот закат. Помнишь?

— Да, да... Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, она скучная, рыжая, холмы да холмы, будто она неприютная, а я люблю ее. Помню, когда мама еще была здоровая, она работает на баштане, а я, совсем еще маленькая, лежу себе на спине и гляжу высоко, высоко, думаю, ну как высоко я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в самую высочину? И мне вчера так больно стало, когда мы смотрели на закат, а потом на этих мокрых лошадей, пушки, повозки, на раненых... Красноармейцы идут такие измученные, запыленные. Я вдруг с такой силой поняла, что это никакая не перегруппировка, а идет страшное, да, именно страшное, отступление. Поэтому они и в глаза боятся смотреть. Ты заметила?

Валя молча кивнула головой.

— Я как посмотрела на степь, где мы столько песен спели, да на этот закат, и еле слезы сдержала. А ты часто видела меня, чтобы я плакала? А помнишь, когда стало темно?... Эти всё идут, идут в сумерках, и все время этот гул, вспышки на горизонте и зарево, — должно быть, в Ровеньках, — и закат такой тяжелый, багровый. Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить... что-то грозное нависло над нашими душами, — сказала Уля, и мрачный, тусклый огонь позолотил ее очи.

— А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка? — сказала Валя с выступившими на глаза слезами.

— Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали! — сказала Уля. — Но что же делать, что же делать! — совсем другим, детским голоском нараспев сказала она, и в глазах ее заблестело озорное выражение.

Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, подхватив в узкую загорелую жменю подол темной юбки, смело вошла в воду.

— Девочки, лилия!.. — воскликнула выскочившая из кустов тоненькая и гибкая, как тростинка, девуш-

ка с мальчишескими отчаянными глазами. — Нет, чур моя! — взвизгнула она и, резким движением подхватив обеими руками юбку, блеснув смуглыми босыми ногами, прыгнула в воду, обдав и себя и Улю веером янтарных брызг. — Ой, да тут глубоко! — со смехом сказала она, провалившись одной ногой в водоросли и пятясь.

Девушки — их было еще шестеро — с шумным говором высыпали на берег. Все они, как и Уля, и Валя, и только что прыгнувшая в воду тоненькая девушка Саша, были в коротких юбках, в простеньких кофтах. Донские каленые ветры и палящее солнце, будто нарочно, чтобы оттенить физическую природу каждой из девушек, у той позолотили, у другой посмуглили, а у иной прокалили, как в огненной купели, руки и ноги, лицо и шею до самых лопаток.

Как все девушки на свете, когда их собирается больше двух, они говорили, не слушая друг друга, так громко, отчаянно, на таких предельно-высоких, визжащих нотах, будто все, что они говорили, было выражением уже самой последней крайности и надо было, чтобы это знал, слышал весь белый свет.

— ...Он с парашютом сиганул, ей-богу! Такой славенький, кучерявенький, беленький, глазки, как пуговички!

— А я б не могла сестрой, право слово, — я крови ужас как боюсь!

— Да неужто ж нас бросят, как ты можешь так говорить! Да быть того не может!

— Ой, какая лилия!

— Майечка, цыганочка, а если бросят?

— Смотри, Сашка-то, Сашка-то!

— Так уж сразу и влюбиться, что ты, что ты!

— Улька, чудик, куда ты полезла?

— Еще утонете, скаженные!..

Они говорили на том характерном для Донбасса смешанном грубоватом наречии, которое образовалось от скрещения языка центральных русских губерний с украинским народным говором, донским казачьим диалектом и разговорной манерой азовских портовых горо-

дов — Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону. Но как бы ни говорили девушки по всему белу свету, все становится милым в их устах.

— Улечка, и зачем она тебе сдалась, золотко мое? — говорила Валя, беспокойно глядя добрыми, широко расставленными глазами, как уже не только загорелые икры, но и белые круглые колени подруги ушли под воду.

Осторожно нащупывая поросшее водорослями дно одной ногой и выше подобрав подол, так что видны стали края ее черных штанишек, Уля сделала еще шаг и, сильно перегнув высокий стройный стан, свободной рукой подцепила лилию. Одна из тяжелых черных кос с пушистым расплетенным концом опрокинулась в воду и поплыла, но в это мгновение Уля сделала последнее, одними пальцами, усилие и выдернула лилию вместе с длинным-длинным стеблем.

— Молодец, Улька! Своим поступком ты вполне заслужила звание героя союза... Не всего Советского Союза, а, скажем, нашего союза неприкаянных девчат с рудника Первомайки! — стоя по икры в воде и тараша на подругу округлившиеся мальчишеские карие глаза, говорила Саша. — Давай квяток! — И она, зажав между колен юбку, своими ловкими тонкими пальцами вправила лилию в черные, крупно вьющиеся по вискам и в косах Улины волосы. — Ой, как идет тебе, аж завидки берут!.. Обожди, — вдруг сказала она, подняв голову и прислушиваясь. — Скребется где-то... Слышите, девочки? Вот проклятый!..

Саша и Уля быстро вылезли на берег.

Все девушки, подняв головы, прислушивались к прерывистому, то тонкому, осиному, то низкому, урчащему, рокоту, стараясь разглядеть самолет в раскаленном добела воздухе.

— Не один, а целых три!

— Где, где? Я ничего не вижу...

— Я тоже не вижу, я по звуку слышу...

Вибрирующие звуки моторов то сливались в одно нависающее грозное гудение, то распадались на отдельные, пронзительные или низкие, рокошующие звуки. Са-

молеты гудели уже где-то над самой головой, и, хотя их не было видно, точно черная тень от их крыльев прошла по лицам девушек.

— Должно быть, на Каменск полетели, переправу бомбить...

— Или на Миллерово.

— Скажешь — на Миллерово! Миллерово сдали, разве не слыхала сводку вчера?

— Все одно, бои идут южнее.

— Что же нам делать, девчата? — говорили девушки, снова невольно прислушиваясь к раскатам дальней артиллерийской стрельбы, которая, казалось, приблизилась к ним.

Как ни тяжела и ни страшна война, какие бы жестокие потери и страдания ни несла она людям, юность с ее здоровьем и радостью жизни, с ее наивным добрым эгоизмом, любовью и мечтами о будущем не хочет и не умеет за общей опасностью и страданием видеть опасность и страдание для себя, пока они не нагрянут и не нарушат ее счастливой походки.

Уля Громова, Валя Филатова, Саша Бондарева и все остальные девушки только этой весной окончили школо-десятилетку на руднике Первомайском.

Окончание школы — это немаловажное событие в жизни молодого человека, а окончание школы в дни войны — это событие совсем особенное.

Все прошлое лето, когда началась война, школьники старших классов, мальчики и девочки, как их все еще звали, работали в прилегающих к городу Краснодону колхозах и совхозах, на шахтах, на паровозостроительном заводе в Ворошиловграде, а некоторые ездили даже на Сталинградский тракторный, делавший теперь танки.

Осенью немцы вторглись в Донбасс, заняли Таганрог и Ростов-на-Дону. Из всей Украины одна Ворошиловградская область еще оставалась свободной от немцев, и власть из Киева, отступавшая с частями армии, перешла в Ворошиловград, а областные учреждения Ворошиловграда и Сталино, бывшей Юзовки, расположились теперь в Краснодоне.

До глубокой осени, пока установился фронт на юге, люди из занимаемых немцами районов Донбасса всё шли и шли через Краснодар, меся рыжую грязь по улицам, и казалось, грязи становится все больше и больше оттого, что люди наносят ее со степи на своих чоботах. Школьники совсем было приготовились к эвакуации в Саратовскую область вместе со своей школой, но эвакуацию отменили. Немцы были задержаны далеко за Ворошиловградом, Ростов-на-Дону у немцев отбили, а зимой немцы понесли поражение под Москвой, началось наступление Красной армии, и люди надеялись, что все еще обойдется.

Школьники привыкли к тому, что в их уютных квартирах, в стандартных каменных, под этернитовыми крышами домиках в Краснодаре, и в хуторских избах Первомайки, и даже в глиняных мазанках на Шанхае — в этих маленьких квартирках, казавшихся в первые недели войны опустевшими оттого, что ушел на фронт отец или брат, — теперь живут, ночуют, меняются чужие люди: работники пришлых учреждений, бойцы и командиры ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной армии.

Они научились распознавать все роды войск, воинские звания, виды оружия, марки мотоциклов, грузовых и легковых машин, своих и трофейных, и с первого взгляда разгадывали типы танков — не только тогда, когда танки тяжело отдыхали где-нибудь сбоку улицы, под прикрытием тополей, в мареве струящегося от брони раскаленного воздуха, а и когда, подобно грому, катились по пыльному ворошиловградскому шоссе, и когда буксовали по осенним, расползшимся, и по зимним, заснеженным, военным шляхам на запад.

Они уже не только по обличью, а и по звуку различали свои и немецкие самолеты, различали их и в пылающем от солнца, и в красном от пыли, и в звездном, и в черном, несущемся вихрем, как сажа в аду, донецком небе.

— Это наши «лаги» (или «миги», или «яки»), — говорили они спокойно.

— Вон «мессера» пошли!..

— Это «Ю-87» пошли на Ростов, — небрежно говорили они.

Они привыкли к ночным дежурствам по отряду ПВХО, дежурствам с противогазом через плечо, на шахтах, на крышах школ, больниц, и уже не содрогались сердцем, когда воздух сотрясался от дальней бомбежки и лучи прожекторов, как спицы, скрещивались вдали, в ночном небе над Ворошиловградом, и зарева пожаров вставали то там, то здесь по горизонту, и когда вражеские пикировщики среди бела дня, внезапно вывернувшись из глубины небес, с воем обрушивали фугаски на тянувшиеся далеко в степи колонны грузовиков, а потом долго еще били из пушек и пулеметов вдоль по шоссе, от которого в обе стороны, как распоротая глиссером вода, разбежались бойцы и кони.

Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни во весь голос на ветру с грузовиков в степи, летнюю страду среди необъятных пшениц, изнемогающих под тяжестью зерна, задушевные разговоры и внезапный смех в ночной тиши, где-нибудь в овсяной полове, и долгие бессонные ночи на крыше, когда горячая ладонь девушки, не шелохнувшись, и час, и два, и три покоится в шершавой руке юноши, и утренняя заря занимается над бледными холмами, и роса блестит на сероватых этернитовых крышах, на красных помидорах и каплет со свернувшихся желтеньких, как цветы мимозы, осенних листочков акаций прямо на землю в палисаднике, и пахнет загнивающими в сырой земле корнями отвянувших цветов, дымом дальних пожарищ, и петух кричит так, будто ничего не случилось...

И вот этой весной они окончили школу, простились со своими учителями и организациями, и война, точно она их ждала, глянула им прямо в очи.

23 июня наши войска отошли на Харьковском направлении. 2 июля завязались бои на Белгородском и Волчанском направлениях с перешедшим в наступление противником. А 3 июля, как гром, разразилось со-

общение по радио, что нашими войсками после восьмимесячной обороны оставлен город Севастополь.

Старый Оскол, Россось, Кантемировка, бои западнее Воронежа, бои на подступах к Воронежу, 12 июля — Лисичанск. И вдруг хлынули через Краснодон наши отступающие части.

Лисичанск — это было уже совсем рядом. Лисичанск — это значило, что завтра в Ворошиловград, а послезавтра сюда, в Краснодон и Первомайку, на знакомые до каждой травинки улочки с пыльными жасминами и сиренями, выпирающими из палисадников, в дедов садочек с яблонями и в прохладную, с закрытыми от солнца ставенками, хату, где еще висит на гвозде, направо от дверей, шахтерская куртка отца, как он ее сам повесил, придя с работы, перед тем как идти в военкомат, — в хату, где материнские теплые, в жилочках, руки вымыли до блеска каждую половицу и полили китайскую розу на подоконнике, и набросили на стол пахнущую свежестью сурового полотна цветастую скатерку, — может войти, войдет немец!

В городе так прочно, будто на всю жизнь, обосновались очень положительные, рассудительные, всегда всё знавшие бритые майоры-интенданты, которые с веселыми прибаутками перекидывались с хозяевами в карты, покупали на базаре соленые кавуны, охотно объясняли положение на фронтах и при случае даже не щадили консервов для хозяйского борща. В клубе имени Горького при шахте № 1-бис и в клубе имени Ленина в городском парке всегда крутилось много лейтенантов, любителей потанцевать, веселых и не то обходительных, не то озорных — не поймешь. Лейтенанты то появлялись в городе, то исчезали, но всегда наезжало много новых, и девушки так привыкли к их постоянно меняющимся загорелым мужественным лицам, что все они казались уже одинаково своими.

И вдруг их сразу никого не стало.

На станции Верхнедуданной, этом мирном полустанке, где, возвращаясь из командировки или поездки

к родне, или на летние каникулы после года учения в вузе, каждый краснодонец считал себя уже дома, — на этой Верхнедудуванной и по всем другим станциям железной дороги на Лихую — Морозовскую — Сталинград грудились станки, люди, снаряды, машины, хлеб.

Из окон домиков, затененных акациями, кленочками, тополями, слышался плач детей, женщин. Там мать снаряжала ребенка, уезжавшего с детским домом или школой, там провожали дочь или сына, там муж и отец, покидавший город со своей организацией, прощался с семьей. А в иных домиках с закрытыми наглухо ставнями стояла такая тишина, что еще страшнее материнского плача, — дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха-мать, проводив всю семью, опустив черные руки, неподвижно сидела в горнице, не в силах уже и плакать, с железною мукою в сердце.

Девушки просыпались утром под звуки дальних орудейных выстрелов, ссорились с родителями, — девушки убеждали родителей уезжать немедленно и оставить их одних, а родители говорили, что жизнь их уже прошла, а вот девушкам-комсомолкам надо уходить от греха и беды, — девушки наскоро завтракали и бежали одна к другой за новостями. И так, сбившись в стайку, как птицы, изнемогая от жары и неприкаянности, они то часами сидели в полутемной горенке у одной из подруг или под яблоней в садочке, то убегали в тенистую лесную балку у речки, в тайном предчувствии несчастья, какое они даже не в силах были охватить ни сердцем, ни разумом.

И вот оно разразилось.

— Ворошиловград уже, поди, сдали, а нам не говорят! — резким голосом сказала маленькая широколицая девушка с остреньким носом, блестящими гладкими, точно приклеенными, волосами и двумя короткими и бойкими, торчащими вперед косицами.

Фамилия этой девушки была Вырикова, а звали ее Зиной, но с самого детства никто в школе не звал ее по имени, а только по фамилии: Вырикова да Вырикова.

— Как ты можешь так рассуждать, Вырикова? Не говорят — значит еще не сдали, — сказала Майя Пегливанова, природно смуглая, как цыганка, красивая черноокая девушка, и самолюбиво поджала нижнюю полную своевольную губку.

В школе, до выпуска этой весной, Майя была секретарем комсомольской организации, привыкла всех поправлять и всех воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы всегда все было правильно.

— Мы давно знаем всё, что ты можешь сказать: «Девочки, вы не знаете диалектики!» — сказала Вырикова, так похоже на Майю, что все девушки засмеялись. — Скажут нам правду, держи карман пошире! Верили, верили и веру потеряли! — говорила Вырикова, посверкивая близко сведенными глазами и, как жучок — рожки, воинственно топыря свои торчащие вперед острые косицы. — Наверно, опять Ростов сдали, нам и тикать некуда. А сами драпают! — сказала Вырикова, видимо, повторяя слова, которые она часто слышала.

— Странно ты рассуждаешь, Вырикова, — стараясь не повышать голоса, говорила Майя. — Как можешь ты так говорить? Ведь ты же комсомолка, ты ведь была пионервожатой!

— Не связывайся ты с ней, — тихо сказала Шура Дубровина, молчаливая девушка постарше других, коротко остриженная по-мужски, безбровая, с диковатыми светлыми глазами, придававшими ее лицу странное выражение.

Шура Дубровина, студентка Харьковского университета, в прошлом году, перед занятием Харькова немцами, бежала в Краснодар к отцу, сапожнику и шорнику. Она была года на четыре старше остальных девушек, но всегда держалась их компании; она была тайно, по-девичьи, влюблена в Майю Пегливанову и всегда и везде ходила за Майей, — «как нитка за иголкой», говорили девушки.

— Не связывайся ты с ней. Коли она уже такой колпак надела, ты ее не переколпачишь, — сказала Шура Дубровина Майе.

— Все лето гоняли окопы рыть, сколько на это сил убили, я так месяц болела, а кто теперь в этих окопах сидит? — не слушая Майи, говорила маленькая Вырикова. — В окопах трава растет! Разве не правда?

Тоненькая Саша с деланным удивлением приподняла острые плечи и, посмотрев на Вырикову округлившись глазами, протяжно свистнула.

Но, видно, не столько то, что говорила Вырикова, сколько общее состояние неопределенности заставляло девушек с болезненным вниманием прислушиваться к ее словам.

— Нет, в самом деле, ведь положение ужасное? — робко взглядывая то на Вырикову, то на Майю, сказала Тоня Иванихина, самая младшая из девушек, крупная, длинноногая, почти девочка, с крупным носом и толстыми, заправленными за крупные уши прядями темно-каштановых волос. В глазах у нее заблестели слезы.

С той поры как в боях на Харьковском направлении пропала без вести ее любимая старшая сестра Лиля, с начала войны ушедшая на фронт военным фельдшером, все, все на свете казалось Тоне Иванихиной непоправимым и ужасным, и ее унылые глаза всегда были на мокром месте.

И только Уля не принимала участия в разговоре девушек и, казалось, не разделяла их возбуждения. Она расплела замокший в реке конец длинной черной косы, отжала волосы, заплела косу, потом, выставляя на солнце то одну, то другую мокрые ноги, некоторое время постояла так, нагнув голову с этой белой лилией, так шедшей к ее черным глазам и волосам, точно прислушиваясь к самой себе. Когда ноги обсохли, Уля продолговатой ладошкой обтерла подошвы загорелых по высокому суховатому подъему и словно обведенных светлым ободком по низу ступней, обтерла пальцы и пятки и ловким привычным движением сунула ноги в туфли.

— Эх, дура я, дура! И зачем я не пошла в спецшколу, когда мне предлагали? — говорила тоненькая Саша. — Мне предлагали в спецшколу энкаведе, — наивно разъяснила она, поглядывая на всех с мальчишеской